

# Хроника современной литературы

Валерий Кислов

## Жуткий диагноз

DOI: 10.53953/08696365\_2022\_177\_5\_317

Давыдов Д. Не рыба

М.: Всегоничего, 2021. — 140 с.

Эти короткие — из двух-трех фраз, но всякий раз не больше страницы — тексты трудно отнести к какому-то жанру. Они очень отличаются по стилистике — точнее, по стилизации. Здесь встречаются псевдоисторические хроники, псевдонаучная фантастика, псевдофилософская притча, но особенно часто псевдосказ — в манере то ли Бабеля, то ли Зощенко — иногда с произвольной орфографией и пунктуацией, а иногда с фонетической записью разговорной речи. «Псевдо» — поскольку все они откровенно представлены как образцы, не претендующие на подобие и подражание; это меты или знаки, — самое большое — навешивающие и отсылающие.



Взять, к примеру, «Успехи приволжских экспедиций I»: «Как мы копнули, так и полезли. Ну, давай их лопатами, Ваня орет: чеснок, чеснок! Лезем в схрон, а там надпись: нельзя. Ну, это не я лазил, мне рассказывали» (с. 67). Или «Парафраз притчи Катулла из “Мартовских ид” Т. Уайлдера»: «Петя что. Он у нас ваще дурной. Но дурной-дурной, а рыбу тащит, прямо засунет в озеро руку, и вот. Да Васька-малец дурак-дураком, бегаёт себе по двору, пузыри мыльные пускает, а те летят, да вот и превращаются. Ещё Кузьмич есть, так он совсем глухой, у него на кузнице вещи сами к нему в руки идут, видал, а что куёт, то уж повидай такого» (с. 99).

Все эти рассказы — если угодно, байки — характеризуются неким логическим сбоем, нарушением причинно-следственных связей, что роднит их с сюрреалистическими коллажами и абсурдистскими скетчами, но больше всего — с пародийно анекдотическими — трагикомическими — историями в духе обэри-

утов. «Рассказ, необходимый для успокоения ума и сердца» или «Аркадий Артамонович ест рыбу» — показательные примеры того, как в болтовне «похмельных философов» раскалывается мысль, сюжет распадается, фабула дробится и в постоянных синкопах проваливаются смыслы.

Для пущей растерянности читателя — а может, напротив, дабы позволить ему время от времени сосредоточиться, — тексты перемежаются авторскими иллюстрациями. Каждый десяток страниц отмечен как вежами чудесными рисунками, надо полагать тушью; на абстрактных подтеках и размывах останавливается восхищенный — по крайней мере, мой — взгляд.

В текстах, как и в иллюстрациях, сюрреалистическим кажется всё: рыбы на цепи, которым поют казацкие песни, профессор, проповедующий рыбам, единорог на дачном участке... Повествователь может оказаться птицей или рептилией, писатель — оказаться роботом, врач — зомби, балерина — убийцей, а «буро-серо-зеленая масса глины, песка, грязи и сломанных веток» — на миг обратиться мыслящим и говорящим существом.

Все эти микроистории — случаи и происшествия — нарочно не завершены, разорваны, нарочито бессвязны и, кажется, априори несвязуемы; это — используя название одного из текстов — «фрагменты памяти, фрагменты души, фрагменты тела» (с. 119). Под стать фрагментарности и стилистическому разнобою — раздрай повествовательный и тематический; нет автора как объединяющей инстанции, нет героев и персонажей — самое большее фигуранты, — да и тема не просматривается даже на уровне интенции. Внимание фокусируется на подробностях, никак на первый взгляд не связанных с событием и фактически заменяющим само событие.

Антология анонимов, подборка отрывков...

Предположение № 1 (формалистское и наверняка ошибочное). «Не рыба» — результат литературной игры: склеивания наугад или по ключевым словам, их перемешивания или перемещения в заранее предусмотренном порядке. Автор уступает место комбинатору, оперирующему случаем или алгоритмом, которые диктуют, что и как надо писать.

Пожалуй, нет. Эти тексты слишком значительно замалчивают, слишком красиво недосказывают, слишком демонстративно являют невозможность высказаться до конца. Здесь обрывание — намеренное, искусное. В самом говорении, кажется, культивируется непостижимость того, ради чего все говорится. «Меня было можно... мне можно... я знаю, что нельзя...» — лепечет рассказывающий что-то — предположительный — ребенок («Няня», с. 11). Что можно? Что нельзя?

Каждое последующее слово, каждое предложение ведет к еще большему непониманию. «...Я сидел, где сидел, и пытался логически простроить смысл сказанного. Не пытайтесь, сказал капитан Шорохов, это внелогично. Вас здесь нет, вы мешаете. Меня здесь нет, но я буду мешать, и не только как воспоминание...» («Красота мира», с. 57).

Так же — «внелогично» — обстоит дело с прочтением всех этих текстов. Смысл постоянно ускользает. Манит, привлекает, но всякий раз обманывает. Не понятно, «ни к чему притча, ни чем она заканчивается». Что-то рассказывается, но всякий раз не то, что заявлено: наблюдающий за жильцами своего — своего ли? — дома рассказывает, но в итоге ничего не высказывает; мы так и не поймем, что интересного и занимательного в том, на что ему интересно и занимательно смотреть («Наблюдатель», с. 8). То же самое происходит и с дру-

гими рассказчиками, например с тем, кто гуляет по лесу: «Я шел по лесу и думал, что вот не надо бы. Много чего, а этого уж совсем. И довольно, да, довольно. Не молодой вроде уже. А с другой стороны так хочется» (Рысь, с. 27). Чего не надо бы? Чего так хочется?

«Но он исповедовал, что исповедовал, потому продолжал идти. Если бы посмотрели со стороны на это, то мы удивились бы его упорству. Если бы мы еще более отделились, то и вовсе ничего бы не заметили» («Исповедание», с. 61). Кто исповедовал? Что исповедовал? Кто мы? Почему мы были с ним?

Каждый следующий текст — каждое последующее «отдаление» — погружает нас в еще большее недоумение. По мере чтения складывается стойкое ощущение глобального несоответствия всего всему. И космонавт не космонавт, и охотник не охотник, и адрес не тот, и палка — то ли штатив, то ли штырь или вообще антенна, да и дамы уже не дамы, «а сотрудники агентства по трудоустройству. Или младшие референты департамента печати и информации. Или старшие». Да и книга, в общем-то, не случайно, наверное, названа «Не рыба». Ложные отблески, водная зыбкость, рыба — а рыбы в этих текстах водятся — скользкость смысла. Все формулируется вроде бы однозначно, но в итоге — как «не трубка» у Магритта — оказывается не тем.

Перефразируя изречение «Все во всем» — кажется, Анаксагора, — можно вместе с рассказчиками Д.Д. провозгласить: «Ничто в ничем». Очевидность «заключена не в головах и не в социальных отношениях. Но и не в трансцендентальном... <...> Очевидность очевидна!» — гордо заявляет персонаж текста «Предательство» (с. 45). Но все получается наоборот: здесь все совершенно не очевидно, неясно, никчемно (в смысле: ни к чему не приложимо), словно в сюрреалистических сновидениях, которые приходится — вольно — невольно — но всегда произвольно — интерпретировать.

Возможно, вся эта книга — подборка чьих-то снов и грез. Сновидения и вправду присутствуют, чаще тревожные, иногда кошмарные: «Оккупанты располагают одну из частей на территории табачной фабрики, и одна из работниц, фантастическая и роковая красавица, соблазняет офицера. Я чувствую отчетливо во сне невыносимую знакомость сюжета и, даже проснувшись и, поняв о чем речь, не могу отделаться от впечатления, что все равно что-то здесь не то и не так. Может, кого-то убьют не так, а может, и не убьют вовсе. Может, там вовсе не табачная фабрика, а что-то иное. Может, это не образы, а живые люди» («Случай на табачной фабрике», с. 104).

А возможно, это вовсе и не сновидения, а видения, осаждающие того, кто «не в себе», образы, изводящие того, чья психика явно нарушена: «С тех пор, как мы есть я, сложно выделить то я, что не-я, но всегда найдется такой злопыхательный контур... <...> Для того ли коллективный разум рос, чтобы какой-то мерзкий грибок, пролезший в щель нашего мозга, мог нарушить гармонию абсолютного разума» («Гармония абсолютного разума», с. 52).

«Мерзкий грибок» — красивая метафора для расщепления мозга — иначе говоря, — шизофрении. Но ожидать рассудочного изложения эпикриза не стоит: уместнее говорить не о шизофрении, а о помраченности сознания. И кстати, обратить внимание на то, что люди и вещи в этих рассказах не окрашены ни в какие цвета. Все совершенно бесцветно. Как будто схематично. По сути — «это так, фиксация» (с. 55), нейтральная запись слов и мыслей больного воображения. Где часто стирается разница между прямой и косвенной речью, между тем, что говорится и думается. Большая часть записей ведется от пер-

вого лица, но «я» оказывается до странности безликим, несущественным. Оно легко растворяется в «мы», и вот уже очередной клинический случай вливается в поток уже не индивидуального, а коллективного — и не сознания, а скорее бессознательного.

Читающему по-прежнему непонятно, откуда доносятся все эти фантазматические голоса, из детского прошлого или взрослого настоящего, из реальности или — так сказать — художественного вымысла. Как связывать обрывки подсознания, когда все начинается со снаряда и рейхстага, продолжается лагерем, а заканчивается — ретроспективно — коровами и гусями? Как заполнять лакуны в воссоздании прошлой и настоящей жизни непонятно кого? «Здесь я лежал, и здесь будут лежать сыновья мои. Это он так сказал, потому что по сценарию. Я что. Он говорит, неси эту дуру, и я перетаскиваю, а что, должна же дура стоять, изображать божество. Даже не папье-маше, какой-то пластик совсем одноразовый. Здесь все у них одноразовое, но Витя говорит: потащили, и тащим. И это хорошо, потому что я рядом, потому что здесь я лежал, и здесь будут лежать сыновья мои» («Патриотизм II», с. 53).

Какой сценарий? Какое божество изображает «эта дура»? Возможно, рассказчик и его фигуранты не только не в себе, но вообще не отсюда, а «оттуда», например «с небес, где ни земли, ни воды, ни воздуха, только внимание, только совершенное зрение» («Объяснение», с. 25). В некоторых рассказах чувствуется легкое мистическое дуновение, этакий метафизический сквозняк: «А у нас в овине был шепот. А все говорили, что нет его. И Манька когда пошла к стаду, то ее, вишь, потом принесли, и Ваньку потом принесли. И вот был бык, и теперь я в раю. Я князь господств, и мне позволено многое, и даже Лик Его лицезрел. Но где Манька, где Ванька?» («Восхищение», с. 21).

Предположение № 2 (провокационное и, наверное, ошибочное).

«Не рыба» — свод рассказов блаженных, юродивых, бесноватых. Одержимых. Душевнобольных. Крики — выкрики — почти рыки — души.

Иногда весь текст сводится к одной-единственной — пронзительной, отчаянной, безответной — реплике, чья информативная содержательность оказывается почти нулевой: «Идиоты вы, что вы вот так все, дураки вот, совсем вот дураки и идиоты, а грубее тоже знаю, только мама говорила не говорить, дураки потому что, дураки» («Ограничение», с. 31).

Иногда такая одинокая реплика — вопреки — а может быть, наоборот, благодаря — своей идиотической примитивности и обнаженной категоричности звучит пафосно и даже трагикомично: «я што хачу тебе сказат. это вот хачу. ты не панемаеш, потому что тдура. ая ведь умный» («СМС», с. 39).

А иногда текст воспроизводит повторение — заикливое бормотание на грани глоссолалии — отдельных словосочетаний, выражающих некую, непонятную нам навязчивую идею: «А у ей, кода ходили до ей, всегда бывало, што это, не то, что у ей. А у ей-то не, не надо у ей. Евгений Павлович оглянулся, поднял воротник, ему было неудобно. У ей, говорю, у ей, а не у ей» («Приезд», с. 41).

По мере чтения понимание так и не приходит, зато все чаще возникает одно и то же ощущение. Ощущение постоянно присутствующей угрозы, опасности, гипотетического, а иногда и действительного, причем никак не обоснованного насилия. Так, исповедуемый признается, что убил семерых, потому что «шерсть воруют» и этого — даже не объяснения, а побочного обстоятельства — в виде причины — вполне достаточно и для него, и для исповедующего. Насилие присутствует между делом, мимоходом, в фоновом режиме, но фон часто

оказывается чуть ли не главным действием, а смерть — случайная или умышленная — становится чем-то заурядным, привычным: «Все вы забыли меня, сказал Петя, и упал в овраг. Мы веселились. Никита что, он Никита. А Сеня давай того. И все того. А я устал, сижу, и вдруг Никита. Зачем мы здесь? Он всегда у нас был дурачок. И не знаю, что сказать, но тут крики Петя, Петя! Хоронили его в среду» («Овраг», с. 59).

Эти отрывки — обрывки — обрубки — невозмутимая фиксация повреждения членов, тел и душ. Там гениальной пианистке ломают пальцы, здесь с кого-то сдирают шкуру, где-то режут ножами, рубят саблями. Многие тексты — свидетельства о расправах и казнях во время какой-то — какой? — то ли революции, то ли гражданской войны. «Как-то — равнодушно заводит рассказ один из таких участников — мы головы рубили ихним» («Расстрел», с. 22). «Перед памятью, как перед смертью, — все равны», — писал В. Шаламов, — и, в общем-то, — могут добавить все рассказчики Д.Д. — всё равно. Рассказываемые убийства представлены рутинными и привычными, и не понятно, да и не важно, кто наши, а кто «ихние», кто с кем воевал и кто кого победил.

На память — вслед за какими-то революциями и войнами — приходит — блокадный? — метафорический или самый настоящий каннибализм: «Его поедали за моей спиной, мне не стоило оборачиваться, вот я и не оборачивался. И что, что друг. Друг. Сколько вместе. Но его поедают, а меня пока нет. А что я могу сделать, обернуться разве, но я сильный человек, я не обернусь» («Сила воли», с. 36).

На память приходят расстрельные овраги и пустоши, где погребены семьи, кланы, народы. «Оно большое такое, прошлое, туда переноситься нелегко, но мы уверимся в некоей точке, почувствуем, что она нас держит, будем там. Младенцы и их матери, и братья их старшие и сестры лежат убитые на дне ямы» («Хроноклазм», с. 42). «Большое» — поскольку заполненное массовыми жертвами — прошлое «держит нас» и через «излом времени» — возвращаясь к названию текста — возвращается к нам.

На память приходят репрессии — стыдливый эвфемизм гнета и истребления — прошлые, настоящие и — страшно подумать — грядущие.

На память приходят меры воздействия и выбивание признаний: «...он так-таки и дал мне поразмышлять некоторое время, и даже почти не бил, ведь видно же, что он, образованный, симпатичный человек, во многом со мной сходящийся, — просто не может преступить грань должности, чина, и ведь это не он себе навязал, это ему навязали. А то, что я подписал, мне не навязывали, я подписал сам, сам, сам» («Сам», с. 14).

На память приходят пропагандистские кампании и обвинительные процессы: «Пустых людей не бывает, говорил Леро, посмеиваясь. Скажи, осмелился Нира, а что за наполнение их? Они полны либо умом, либо говном, но бывают и смеси. Спор, как бы это поприличнее перевести, закончился расстрелом и П.Н. Пляшкина и З.С. Моненгольма. Потом санскрита никто не знал, а как стало можно, напечатали перевод Устьялова» («Проблемы редакции перевода», с. 65).

На память — вместе с «имперским очистительным коллектором» — приходят лагеря и каторги и «тот странный переход, когда человек-человек, но уже не человек» («Педагогика 1», с. 80).

На память приходят комитеты, коллегии и ведомства по истреблению, где «подпись означала смерть».

Предположение № 3.

«Не рыба» — свидетельства об истреблении. И отсылают эти свидетельства — исподволь, косвенно — туда. Туда. В двадцатые годы. В тридцатые. И сороковые-пятидесятые. Туда, где люди превращались в тени. «И тут откуда-то появляются, стреляют, я умираю. Но просыпаюсь. Там тени и только тени, и они говорят: ты правильно сделал, прощай. И тут я совсем умираю» («Успехи антарктических экспедиций I», с. 66).

Эти рассказы — на уровне зыбких аллюзий, мерцающих ассоциаций — свидетельствуют не только о вчерашнем травматическом, но так и не учтенном опыте, они свидетельствуют о сегодняшних мрачных ожиданиях. Они — вне времени — отсылают и туда, и сюда. Где люди исчезли или только готовятся исчезнуть. Тексты Д.Д. — будто иллюстрируя исследование Липавского — передают густоту ужаса, жуть того что было, есть и — страшно подумать — наверное, будет: крысы улетели, темные углы остались, ангелы, снисходя, падают всегда не туда. И поскольку «Gott ist tot» — это название финального рассказа, — то все дозволено. Прежде всего — насилие. Насилие узаконенное, широко применимое и ставшее банальным, так что уже никто не удивляется «странной привычности той бездны... противоестественной обыденности всего, что происходило...» (с. 137). Быль — страшнее сказки, реальность — ужаснее вымысла, жизнь — своей фантазмагорией — затмевает литературу.

Быть может, именно так — фиксируя рвань речи и плоти, клочья бытия — надо протягивать шаткие мостки — тонкие нити — между ужасом прошлого к ужасу настоящего и, наверное, будущего: «Поутру все убили всех, и миротворец отправился дальше» (с. 107).

Быть может, именно так — эллиптически, аллюзивно, ассоциативно — надо передавать этот ужас, сохранять о нем память и выносить о нем трезвое суждение. Понимая, так сказать, его преемственность. А еще... осознавать, что в любой миг какой-нибудь сказочный персонаж, злобный маньяк, одержимый имперской властью, может этот ужас осуществить.

«Толпа взывала. Контрреформатор сидел на троне, узурпатор и мерзавец, но умный человек, хотя и ограниченный, и трусливый. Он думал, что ему делать. Подошел мажордом. Ваша Благость, сказал он, теперь уж точно пора. Что ж, контрреформатор пожегился, включайте. Они включили» («Противостояние», с. 101).